Поездка в прошлое

Художественная литература 2026

Поездка в прошлое

1

Снегопад застал их на середке реки. Вмиг стало слепо, бело, залепило глаза — неизвестно, куда и ехать.

Выручили пролетавшие где-то над головой гуси: закричали, заспорили суматошно — видать, и они растерялись в этой заварухе. Вот тогда-то Власик, прислушиваясь к их удаляющемуся гомону, и сообразил, в какой стороне юг, ибо куда же сейчас лететь птице, как не в теплые края.

Снежная липуха немного успокоилась, когда от перевоза поднялись в крутой берег. Впереди проглянуло Сосино с жердяной изгородью по задворью, черная часовня замаячила в полях слева.

Вытирая рукой мокрое лицо, Власик начал было объяснять своему неразговорчивому спутнику, как пройти в деревню и разыскать бригадира, но тот, похоже, в этом не нуждался: загвоздил суковатой палкой побелевшую дорогу, как будто всю жизнь по ней ходил.

Из тутошних, видно, чей? — подумал Власик.

Однако раздумывать над этим ему было некогда. Он замерз, продрог насквозь — от стужи, от сырости,— и все мысли его сейчас были сосредоточены на том, чтобы поскорее добраться до Микши да отогреться в тепле.

В доме у Микши, несмотря на то что перевалило за девятый час, все еще было утро. Хозяйка с худым, разрумянившимся от жара лицом хлопотала возле печи, а хозяин, мрачный, опухший, весь заросший дремучей щетиной, сидел за столом и пил чай. Пил в одиночестве, под обстрелом угрюмых взглядов своих отпрысков, таких же крепколобых и грудастых, как их отец, сбившихся в тесную кучу на широкой родительской кровати справа от порога.

Власик поздоровался.

Ни слова, ни кивка в ответ. Как будто они и не кореши, не приятели давние.

Но он и не подумал обижаться на Микшу — всегда так, когда переберет накануне,— а потому спокойно занялся своим делом: снял с себя широкий пояс связиста-линейщика с металлической цепью, снял мокрую, стоявшую колом парусиновую куртку — и к печке, на скамейку,— тепло так и обняло его худую, продрогшую спину.

Хозяин — в полном молчании домашних — выпил еще два стакана чая, черного, как болотная вода, и только после этого повел своим страховидным горбылем – нос у него раздавлен с детства:

— Чего куришь?

Власик с готовностью достал из парусиновых штанов помятую пачку «Севера», перекочевал к столу — карантин кончился.

Закурили.

— Новости? — опять коротко пропитым голосом гаркнул Микша.

— Да что новости, Никифор Иванович. Известны мои новости. Ребятишки сейчас в школу ходят, все изоляторы посбивали. Вот и загораю кажинный день на линии. Ну а ежели районные дела… (Власик жил в райцентре.) Экспедиция тут из сузёма [Северная тайга] вернулась, крепко, говорят, пошуровали. Все ручьи, все речки на замок взяли.

— Ерунда,— поморщился Микша.

— Да нет, не ерунда, Никифор Иванович. Теперь лишний раз за рыбкой в сузём не сходишь.

— Ерунда, говорю,— повторил Микша.— Будут они наш сузём на замок запирать. Какая рыба в сузёмных речках? Мусор один. Они шуровали, да весь вопрос — чего. Не ту ли самую рыбку, которая под землей?..

У Власика отвалилась нижняя челюсть, два желтых, прокуренных клыка проглянули в беззубом рту.

– Балда! Насчет урана, говорю, але еще какой взрывной хреновины. А рыба эта для отвода глаз. Понял?

— А ведь это подходяще, Никифор Иванович,— живо согласился Власик, и сухое, бескровное лицо его разом просияло.— Я тут с одним переезжал за реку, не больно-то он на воду глядел.

— С кем с одним?

— Да с одним, с экспедиции с этой. Здоровый боров, а сам хромает. С палкой.

Микша удивленно повел своей черной шерстистой бровью:

— Зачем бы это ему сюда? Чего он не видал в нашей дыре?

— А вот уж в части этого не докладывал.— Власик поглядел в окошко, поглядел на Оксю, гремевшую железной кочергой у печки, хитровато прищурил глаз.— А что, Никифор Иванович, может, сообразим сегодня к вечеру? Поскоблим маленько донышко, пока рекостав не начался?

— Браконьерничать? — прямо поставил вопрос Микша.— Давно тебя защучили — хочешь снова на острогу?

— Да что, Никифор Иванович, захочешь рыбки – и на острогу полезешь…

— Нельзя,— отрубил Микша.— Рыбнадзор ноне днюет и ночует на реке.

— Ничего, ничего. Можно, ежели аккуратненько да с оглядом.— И тут Власик двинул в ход, так сказать, материальный стимул (любили они с Микшей всякие заковыристые словечки) — хлоп на стол бутылку.

Оксе этот номер, конечно, не понравился, да что обращать на нее внимание? Какая баба в ладоши бьет, когда мужик с бутылкой обнимается?

После опохмелки разговор пошел как по маслу, и они принялись разрабатывать план предстоящей вылазки: как лучше сделать, чтобы не напороться на рыбнадзор? в какое время выехать? куда? вниз спуститься, к перекатам, или, наоборот, податься вверх, к Красной щелье, где не так заметен луч?

Однако не успели они обговорить и половины –нешуточное дело затевают! — как под окошком вырос высокий человек в черном плаще.

– Он! — живо воскликнул Власик и даже привстал.— Тот самый, с рыбной экспедиции.

Некоторое время незнакомец разглядывал Микшин дом, затем, припадая на больную ногу, вдруг двинулся в заулок.

Власик и Микша переглянулись: не наклепал ли кто на них? по какому еще делу может пожаловать рыбный человек?

Дело, слава богу, касалось не их. Но, как говорится, хрен редьки не слаще: незнакомец, подав Микше записку от директора совхоза, просил свозить его на Курзию.

— На Курзию? — страшно удивился Власик.— Сейчас? Да вы, дорогой товарищ, слыхали, нет, что такое эта самая Курзия? Сорок верст сузёмом да глубокой осенью… Зря, что ли, ее у нас зовут Грузией!.. Да там после лишенцев, этих самых кулаченых, никто и не бывал.

Никакого впечатления! Глазами железными в Микшу вцепился, будто заморозить, загипнотизировать того решил, а что пищат остальные — Окся тоже подала голос от печки,— наплевать.

Микша с ответом не спешил. Сидел, поглядывал на улицу, где снова, похоже, запосвистывал ветер, катал на лбу кожу, как волны на реке, и Власик уже не сомневался: сейчас задаст от ворот поворот этому высокомерному начальничку,— а Микша возьми да и скажи:

— Можно, пожалуй, прокатиться.

2

Выехали уже не рано, в первом часу, потому что не к теще в гости ехали — в сузём. Пришлось менять передние колеса у телеги, подгонять коню хомут, подрубать копыта, да мало ли чего. А кроме того, заставил себя ждать Кудасов, командированный, который, как все приезжие, потащился поглядеть на ихнюю знаменитость — старую часовню.

Пьяненький, основательно поднакачавшийся Власик увязался их провожать. Ему страсть как не хотелось расставаться с двумя бутылками, уплывшими от него в берестяной корзине, накрепко привязанной к задку телеги, и он, позвякивая своей цепью, ковылял сбоку, канючил:

— Здря вы, товарищ Кудасов, ей-богу, здря. У нас на эту Курзию-Грузию забыли когда и ездили. А вы вздумали на вечер глядя. Давайте хоть из-за утра…

Микша в душе был согласен с приятелем. Конечно, лучше бы сейчас сидеть в теплой избе, чем полоскаться на осеннем ветру, да раз уж слово дадено — терпи. И он, настраивая себя на долгую дорожную маету, заговорил, как только въехали в поле,— тут Власик от них отстал: – Ну что, рыбку в морях да в океанах вычерпали –за сузёмы взялись?

Кудасов не ответил. Он, как и следовало ожидать, смотрел на часовню, мимо которой они проезжали,— угрюмую, черную постройку наподобие высокого бревенчатого амбара, без креста, с развороченной крышей, с подпорами по бокам.

— Памятник старины,— не без ехидства объявил Микша.— Под охраной государства. Дощечка имеется. Ни одного гвоздика железного — все дерево. Топором одним рублена. В одна тысяча

шестьсот шестьдесят семам году. При Иване Грозном.

— Иван Грозный на сто лёт раньше жил,— заметил Кудасов.

— Ну хрен с ним, с Иваном Грозным. Не все едино. А вот про крышу могу сказать точно.— Микша захохотал.— Нашего, советского производства. Одна тысяча девятьсот тридцатого года. Со всех деревней тогда народ согнали. «На ура» крест стаскивали, чтобы наглядная агитация насчет бога была. Я тоже, даром что пацан был, за веревку маленько подержался.

Вдали плеснулся тоненький плаксивый голосишко — это Власик, должно быть, с песней входил в деревню,— и тотчас же протяжный гул покрыл его: они подъезжали к лесу. Черная, подпертая слегами часовня, как какое-то допотопное чудовище, смотрела им вслед из полей.

— Да…— Микша закурил.— Повидала эта часовня кое-чего на своем веку. В старину тут, сказывают, верующие заперлись, живьем спалить себя хотели — понимаешь, какой народец был! — да царские солдаты помешали, двери вышибли. А в этом самом тридцатом году что тут делалось… По два, по три мертвяка за утро вытаскивали. Из раскулаченных. С южных районов которые к нам, на Север, были высланы. Жуть сколько их в нашей деревне было! Все лето баржами возили. Все гумна, все сараи были забиты, а уж в часовне этой… В четыре яруса нары стояли!..

Седок оказался не из тех, с кем не соскучишься. Сидел — глаза в землю, руки в замок (язва, что ли, точит?) и ни оха, ни вздоха.

Некоторое время Микша вглядывался в реденький сосновый жердняк справа — тут где-то должны быть его дрова, рубленные нынешней весной. Потом внимание его привлекли свежие заячьи петли, раскиданные по снежной пороше вдоль дороги, и он с живостью воскликнул: — Смотри-ко, смотри, косой-то что надумал! В такую непогодь по лесу разгуливать.

И опять молчание. Опять натужный скрип телеги да всхрап коня на взъемах.

За Летовкой — это ручей в двух километрах от деревни — стали попадаться ели, сперва поодиночке, вперемешку с березой, а потом все гуще, гуще — за-лохматили небо, намертво сдавили дорогу. Сразу из белого дня въехали в сумерки.

— Ну вот,— сказал Микша, прислушиваясь к таежному гулу, идущему поверху.— Теперь до самой Курзии эта краса пойдет.

Он поднял куколь дождевика, покачал головой.

— Нет, ни черта не пойму, как все это делалось. Ну выслали людей из своих краев, кого правдами, кого неправдами — не будем говорить. Горячее времечко было, щепа летела направо и налево. Да зачем в сузём-то загонять? Разве мало пустой земли в России? А ведь тут, в этом сузёме, хоть лопни — хлеба не вырастишь. Середь лета утренники гремят. Мы, бывало, на этой Курзии сено ставим. В деревне лето как лето, а тут, тридцать пять – сорок верст в сторону,— вода по утрам в котелке мерзнет. Эх, да что говорить! — Микша круто махнул руой.— Я сам тогда ужасно идейный был.

— А теперь не идейный? — вдруг подал голос Куда-сов. Он, оказывается, слушал.

– Не имай, не имай на слове! Теперь народ грамотный, на испуг не возьмешь. Я ведь к чему это? А к тому, что дядья мои родные всем тогда у нас заправляли. Кобылины. Как же мне-то, племяннику, от них отставать? Да, вот революционеры были! Кремневые! Теперь таких и нету.

В девятнадцатом году дядю Александра за языком послали. В Сосино, в нашу деревню, значит. А в Сосине — ой-ой! Только одни старики да малые ребятишки. Всех поголовно беляки на дороги угнали: и мужиков, и баб, и девок. И вот дядя Александр думал-думал да и говорит своему отцу — тот больной на кровати лежал: «Вставай, со мной пойдешь». Мати услыхала: «Что ты, Олекса, дьявол!.. Опомнись! Старик третий день не встает, помрет еще в дороге». Никаких гвоздей! Раз для революции надо, ни отца, ни матери не знаю. Ну а дядя Мефодий, тот еще потверже орешек был. У дяди Александра хоть одна слабина была — в части женского вопроса, а этот... Я в жизни не видал на евонном лице улыбки. «Я, говорит, тогда улыбаться буду, когда социализм сполна построим да когда последнего врага в гроб вколотим». Понимаешь?

— Нет! — сказал Кудасов.

— Чего — нет? Не понимаешь, что можно всю жизнь прожить и ни разу не улыбнуться?

— Не понимаю, когда убийством восхищаются! — Кудасов не сказал, выпалил это — с яростью, с ненавистью — и резко откинулся назад, в задок телеги.

— Это кто восхищается убийством? Я? — Микшу тоже заколотило. Не первый раз прокатываются вот так насчет его дядьев.— А дядю Александра не убили?.. Сам себя на тот свет отправил? Теперь на дядьев можно собак вешать. Мертвые. Вали все, чего было и чего не было. Стерпят. Из могилы не встанут. А я бы хотел посмотреть, как нынешние умники с ними, с живыми, поговорили бы. Я-то помню те времена, помню, на каком языке тогда разговаривали. В тридцатом году дядю Александра вот в это же самое время убили на Курзии — комендантом там был,— дак знаешь что было? Со всего района, со всех деревень красные партизаны на похороны прибыли. С ружьями. Всех перебить готовы! А дядя Мефодий — начальником милиции был — стоял-стоял у гроба белый, как сейчас помню, только желтые оспины на щеках, как картечины, отсвечивают, а потом берет из мертвых дядиных рук наган (дескать, большевик и мертвый стреляет) да и говорит: «Ну, Александр, за каждую каплю твоей священной крови ведро выпустим вражьей». Понял, как тогда разговаривали?

Наскочило переднее колесо на корень, у Кудасова съехала с головы кепка, открылся белый покатый лоб с глубокими залысинами, с твердыми зарубами морщин-поперечин. Потом еловая лапа проехалась по его лицу. Не пошевелился, бровью не двинул.

3

Кто только придумал этот сузём? За что такое наказанье людям?

Кажется, он не из тех, кого ласкала да гладила жизнь, на ухабах и колдобинах вырос, а и у него вытрясло всю душу. Коренья, гнилые мостовины, ручьи, болота... А темень, которая, как одеялом, накрыла их после полустанка, где они кормили коня!

И он уж не пытался больше править. Вожжи из рук выпустил: вывози, воронко!

О том, что они выехали наконец на Курзию, Микша догадался по ветру. Всю дорогу ветер гудел где-то вверху, над головой, а тут вдруг яростно хлестнул в лицо, забарабанил по холодной парусине дождевика.

Конь упирался, не хотел на ледяной сквозняк, потом затащил их в какой-то кустарник и стал.

Кудасов чиркнул спичку, ее сразу же задуло.

– А знаешь что, друг,— сообразил наконец Микша,— нам ведь сейчас по этой темени в поселок не попасть. За эти тридцать лет тут все кустом затянуло. Видишь, даже лошадь запуталась.

Думать долго, что делать, не приходилось. На той стороне речонки, которая точила сузём неподалеку от дороги, был издавна обжитый охотниками угор, и Микша, пристроив коня к кустам, в затишье, и захватив с собой пожитки, повел своего спутника туда, на угор.

Кудасов оказался везучим: они перешли в темноте речку, не зачерпнув в сапоги, а дальше и того лучше –на охотничью тропу угодили. Так что когда поднялись в угор, даже насчет дров промышлять не пришлось: сразу, как только осветились, увидали под деревом березовые полешки.

Скоро под суковатыми елями с черными, опаленными комлями затрещал костер.

Микша сходил за водой, повесил чайник, нарубил елового лапника, застлал вокруг огня. Теперь никакая сырость снизу не проберет. Лежи да поворачивай то один, то другой бок.

В запасе у них оставалась еще одна бутылка водки — другую Микша оформил, когда отдыхали на полустанке.

Кудасов и на этот раз не стал пить. Похрустел вяло сухариком, выпил кружку горячего чая — и все. Ни к рыбникам, ни к шаньгам не притронулся — как будто он исполнял какой-то обет.

— Ты вот дядьев моих даве в оборот взял, товарищ Кудасов…— Захмелевшего Микшу опять потянуло на разговор.— А знаешь, я тебе что скажу. Бессребреники. Ничего не нажили, ничем не поживились. Дядю Александра хоронить стали — гимнастерки переодеть нету. Так в той самой гимнастерке, в которой убили — тут его, в этом поселке, стукнули,— и в гроб положили.

Микша посмотрел через огонь на неподвижно сидящего Кудасова, смущенно крякнул.

— А я тоже тогда, даром что сопляк был, на месть поднялся. Нож наточил. Чтобы, значит, со своим заклятым врагом рассчитаться. А этому заклятому врагу знаешь сколько было? Двенадцать лет. Как мне же, а то и меньше. И этого заклятого врага ветром от голодухи качает… Да,— Микша покачал головой,— вот какие времена были. Малых ребятишек до ненависти раскаливали. Я, как себя помню, только и слышишь кругом: кулаки, контра, враги Советской власти… А какие они в натуре-то, на ощупь? У нас в деревне стали колхоз делать — караул кричи. Три хозяйства по плану распотрошить надо, а где их взять? Только одного дьячка и закрючили, да и то за культ — в часовне службу правил. Ну и когда к нам этих кулаков с Украины привезли, мы с ребятами просто воспрянули: вот они, враги-то, живые, тепленькие! И такие классовые бои развернули, что сейчас вспомнить страшно. В деревню прохода этим кулачонкам из часовни нет — это уж само собой,— да мы и лес на запор взяли. Бывало, эти кулацкие дети сунутся в лес за ягодами, а мы уж тут как тут. Войной на них… У них один парнишка был — ух волчонок! Все остальные, как трава, валятся — что же, голодный человек, какой из него вояка? А этот — нет. Ребра вылезают, да не сдаюсь. Вот это, руль-то,— Микша указал на свой нос,— он мне маленько подправил… Камнем…

Над костром вдруг огромным красным снопом взметнулись искры — Кудасов с размаху бросил в огонь сушину.

Что все это значит? Огонь решил сделать пожарче? Или разговор опять не в масть?

— Как будем устраиваться на ночлег? — спросил немного погодя Микша,— Может, для тепла под дождевик мой оба заберемся?

Ответа не было.

4

Микша проснулся от холода. Костерок дымил еле-еле, белая изморозь, как соль, со всех сторон подбирается к костерку…

А где Кудасов? Куда девался его спутник? Два раза просыпался он ночью и два раза видел Кудасова сидящим у огня. Неподвижно. Все на одном и том же месте. С поднятым кверху воротником плаща.

Гремя задеревеневшим дождевиком, Микша вскочил на ноги и сразу успокоился: Кудасов ушел по своим рыбным делам, и доказательством тому были ребристые следы на заиндевелой траве.

Светало. Холодный ветер-утрешняк раскачивал лохматые ели над головой, а там, на том берегу, всплывала бесформенная куча развалившихся бараков. Все, что осталось от здешнего поселка.

Он поискал глазами поля. И не нашел. Березняк. Сплошной березняк. По всей долине речонки. И справа, и слева, и меж бараков, и за бараками вплоть до самой кромки черневшего вдали ельника. И он вспомнил, как тут корчевали тайгу. Люди, мокрые, потные, задыхаются от жары, от дыма — огнем, дымом отгоняли гнус. Но разве отгонишь чем эту нечисть? И вот придумали: взрослые размахивают топорами, крушат проклятый ельник, а сзади дети — шлеп, шлеп березовыми прутьями по мокрым спинам…

Он вспомнил все это и теперь уже с каким-то суеверным страхом смотрел на этот белый, такой красивый издали березняк, равнодушно растоптавший здешние поля.

Между березками то тут, то там чернели малюсенькие елочки, те самые елочки, с какими счастливые люди встречают Новый год. Но он-то знал, что это за твари! Пройдет десятка два-три годов, и эти такие безобидные малютки елочки задушат березняк, под полой которого они выросли. А потом пройдет еще лет тридцать — и тут будет сплошной ельник. Тайга. Сузём. Комарье со своими всхлипами да беспамятный зверь. И кто, по каким приметам догадается, что творилось тут, на Курзии, в былые годы?

Кудасов не возвращался.

Микша сходил к коню, напоил его, задал остатки сена, потом подживил костер, навесил чайник.

Кудасова все не было.

И вдруг, когда он уже собирался было двинуть по его следам, явился. Явился с нежданной стороны, прямо из-за спины, из леса. Весь черный, как обугленный пень, и ветер шевелил его белые редкие волосы — кепку он зачем-то держал в руке.

— А ты, я вижу, разбираешься в здешних местах,— сказал Микша.— По карте? Видел в косогоре кладбище? Интересно, что от него осталось? Много туда народушку поклали. Я, бывало, у дяди жил — кажинный день кого-нибудь волокут.

Кудасов молча выпил чашку горячего чая. Потом встал, коротко бросил:

– У бараков буду.— И нырнул под угор к реке –только камешник посыпался в воду.

5

Повидал он кое-чего на своем веку. Был на войне, был в лагерях. Берлин в сорок пятом году брал с Жуковым, а вот такого в его жизни не было. Не было, чтобы он брел по улице поселка и чтобы руками, как в лесу, раздвигал кусты.

Нужно отдать должное дяде Александру: крепкие построил бараки. Крыши провалились, рамы выгнили, а стены еще стоят. И в свое время куда как могли пойти в дело. Да разве по нашим сузёмным дорогам постройки перевозить? Вот так и остался гнить поселок. Всеми брошенный и всеми позабытый.

Возле одного обгорелого домика Микша задержался.

Место ему показалось знакомым. Во всяком случае комендантский дом, как и этот, стоял вот на таком же угорышке, неподалеку от шумливой речонки.

Потрескивая сучьями, он медленно обогнул домик, вышел к развалившемуся крылечку и тут увидел вдруг два покосившихся столбика с железной перекладиной, сплошь покрытой ржавчиной.

Слезы вскипели у него на глазах.

На этой перекладине любил, бывало, поутру размяться дядя Александр, красиво это у него получалось, а днем опять у столбиков стоял серый заседланный жеребец Жиган — дядя шагу пешком не ступал. И Микша так и запомнил его на всю жизнь: верхом на жеребце, в лихо заломленной черной чапаевке, с плеткой в руке.

Тридцать пять лет собирался он побывать на Курзии, посмотреть место, где убили дядю, и вот наконец он тут, возле того самого крыльца, где оборвалась дядина жизнь.

В памяти воскрес рассказ, который годами, изо дня в день рассказывают в областном музее: «Была глухая осенняя ночь. Александр Данилович возвращался домой. Он устал, утомился за день. К тому же давали о себе знать старые раны, полученные в жарких боях гражданской войны. Но день был прожит не зря. Сделан еще один шаг навстречу светлому будущему. А в это время по пятам его, прикрываясь черным плащом осенней ночи и сжимая в руке холодную сталь кинжала, крался коварный враг. Забыл, забыл опытный революционер-большевик, что он находится в осином гнезде, что классовый враг никогда не дремлет…»

Больше всех на свете любил Микша дядю Александра. И вот на другой день после его похорон встал рано утром, наточил нож и на Курзию: мстить за дядю.

Отец, отец ему тогда службу испортил. Все утро не было дома, еще с вечера в райцентр утопал, а тут только Микша вышел на крыльцо — он. И ведь ничего, ни единого слова не было сказано меж ними, а все понял, обо всем догадался.

— Что ты, что ты, Микша, задумал! Тебе ли в твои ли годы за нож хвататься… Да ты ведь еще ребенок… Да нам кровь дядьев твоих мыть — не отмыть.

И вот добил, доконал его своими причитаниями. И он так и не пошел на Курзию.

6

Кого он везет? Что за человек сзади него? Рыбой тут не пахнет — это теперь ему было ясно как божий день. Приехал, шаг какой-то ступил по речке, в поселок заглянул — и обратно. А самое главное — что ответил ему, когда он, Микша, спросил насчет рыбных запасов в Курзии? Просто заорал: «Да какая тут, к дьяволу, рыба? Ее сроду никогда не было в этой проклятой речонке!»

«А может, он из тех самых, из бывших?» – вдруг пришло ему на ум.

Мотаясь в передке телеги (все тот же пересчет коренья), он искоса пучил глаз назад. Кудасов бревном лежал на телеге. Воротник плаща поднят, козырек кепки надвинут до самого рта так, что видна только нижняя челюсть, крепкая, костистая, с надвое разваленным подбородком.

Проще всего, конечно, было бы спросить: так и так, мол, приятель, хватит тебе маскировку-то наводить. Давай начистоту. Но что-то удерживало его от расспросов. И не потому, чтобы он робел перед этим человеком. Сроду ни перед каким начальством не гнулся, а кто ему этот человек? Но вот поди ж ты. Молчит всю дорогу — и вроде так и надо. Вроде у него какое-то особое право власть свою над тобой показывать.

За монастырским холмом, километрах в пяти от Курзии, проглянуло солнышко. Проглянуло, посмотрело с косматых вершин на подводу, ковыляющую по сузёмной дороге, и отвернулось. А потом как закружило, завьюжило — снег, слякоть, прямо светопреставленье. Дорога сразу раскисла. Лошаденка качалась, как пьяная. Приходилось постоянно слезать с телеги, шлепать по колено в грязи — и так день-деньской…

Был вечер, когда они подъехали к деревне. У Микши в окошке горел свет — ждали.

Он предложил заехать к нему — обогреться, попить чаю.

— Нет. Давай на перевоз.

Ну нет так нет — было бы предложено.

За полевыми воротами слезли с телеги, ощупью прошли к перевозной избушке. Темень. Ветер. Река внизу ревет.

— Сколько с меня?

— А, чего там,— вяло махнул рукой Микша. Ему осточертела эта поездка, начисто вымотавшая и тело, и душу, осточертел этот непонятный человек, который всю дорогу, как больной зуб, точил его воображение, и сейчас у него было одно-единственное желание – поскорее распрощаться с ним.

В темноте хрустнула бумажка.

Микша озябшими пальцами скомкал ее, сунул в карман дождевика.

Кудасов не уходил. Шальной сиверко плясал вокруг них — опять менялась погода,— прощупывал до костей. Чего же он ждет? Может, думает, за реку его повезут? Нет уж, спасибо…

— Ну прощай, Кобылин,— разжал наконец зубы Кудасов.

— Прощай. Все-таки фамилию мою запомнил.

— За-пом-нил,— медленно, по складам сказал Кудасов и вдруг рывком точно клещами стиснул его руку.

Микша поморщился от боли, усмехнулся:

— Ничего, силенка есть.

В темноте железным блеском сверкнули глаза.

— А ты, я думал, подогадливей, Кобылин. Жидковата у тебя память…

Микшу как ударило.

— Постой, постой… Так это?..— Голос изменил ему.— Не может быть…

Кудасов выпустил руку…

…Вот и все. Вся жизнь вдребезги, один чад кругом…

Складно, очень складно рассказывает ученая барышня в областном музее. Глухая осенняя ночь, злобный враг, крадущийся по пятам… А на самом деле?

А на самом деле пьяный дядя изнасиловал беззащитную пятнадцатилетнюю девчонку, которая убирала комендатуру, а брат этой девчонки — четырнадцатилетний пацан — убил дядю…

— А ты заявлял, нет, куда надо?..— зачем-то спросил Микша.

– Насчет убийства? — сказал прямо Кудасов.— Нет, не заявлял.— И в темноте криво усмехнулся.— Все жду, когда пример покажут. Те, кто убивал людей сотнями, тысячами, миллионами…

7

Ветер выл и метался на реке, тяжелая волна билась внизу о берег, а он все сидел и сидел возле перевозной избушки и всматривался в ночной мрак, в черную осеннюю темень, которая заглотила Кудасова.

Все, все рухнуло, вся жизнь вдребезги…

Он давно уже махнул на себя рукой. Пьянчуга. Лагерник. Грамотешки пять классов — что по нынешним временам? Но было, было одно утешение в его жизни — дядя. Знаменитый дядя, герой гражданской войны, человек, который, как красное солнце, согревал ему душу. И когда лет десять назад с легкой руки Хрущева кое-кто у них начал кидать грязью в его дядьев, он готов был глотку перегрызть каждому. А теперь что?

На деревне, в верхнем конце, истошно залаяла собачонка. Потом кто-то знакомым, петушиным голосом запел:

Вы не вейтеся, черные кудри…

Неужели все еще Власик колобродит? Микша поднялся, подошел к коню. Надо отвести беднягу на конюшню. Хозяин весь вечер себя мытарит, на части рвет, а чем виновата бессловесная

животина? Почему она должна коченеть на ветру?

Окся его ждала. Ни одного огня не было в ихнем конце деревни, когда он вышел с конюшни, и стоило ему обогнуть колхозный склад, и вот она, родная изба,— как желанная звездочка в ночной глуши. И тут он всем своим иззябшим существом, всей своей занемевшей кожей ощутил радость близкого тепла, радость горячего чая и, конечно же, водки, которую наверняка припасла для него сердобольная Окся.

Он свернул с дороги, зашагал промерзшими огородами — ближе, скорее будет дома. Скорее ввалится в теплую избу, стащит с себя закоченевший дождевик.

И вдруг, когда уж он вышел на свой огород, когда уж избяной свет заиграл в его оживших глазах, в памяти всплыли предсмертные слова отца, которые передала ему соседка-старуха: «Скажи Никифору, что у отца нету зла на него. Не он виноват. Дядья его таким сделали».

Микша схватился за сердце — его так и качнуло в сторону, а потом под руки попалась обледенелая изгородь, и он всей грудью навалился на нее.

Отдышавшись, он с тоской посмотрел на освещенные окна своего дома. Близко, близко тепло, близко Окся, но эх…

Всю жизнь он презирал и стыдился своего отца. Презирал за мягкость, за тихость, даже за внешний вид презирал. Бороденка, как у старика, нарасчес, поясок шерстяной, домотканый… Да разве сравнишь его с дядьями? Те куда ступят, там и праздник: красные знамена, песни революционные, речи, от которых дух захватывает.

В тридцать седьмом году отца у Микши посадили. Посадили как пособника международной буржуазии, и надо правду говорить: он не очень сокрушался. А когда дядя Мефодий заговорил с ним: нужно показать революционный пример — отречься от отца,— он отрекся. И не просто отрекся, а с объявлением в областной газете, с отказом от отцовской фамилии…

8

Поздновато, поздновато спохватился. Ничего не расскажет теперь соседка: второй год на кладбище лежит. Он сам отволок ее туда. А сколько лет жили окошко в окошко, сколько раз можно было расспросить старуху про отца!

Микша пошагал в верхний конец деревни. К бабке Матрене. Бабка Матрена хоть и давно из ума выжила, а любила вспоминать старое, а если ей еще поднесешь рюмашку, наплетет с три короба.

Зина-тунеядка, бабкина квартирантка, опять гуляла — свет на всю улицу. И с кем гуляла? С Власиком.

— А, Никифор Иванович! Давай к нашему шалашу. А мы вот с Зиночкой — ха-ха! — бюджет государственный укрепляем…— И Власик, посмеиваясь, похихикивая (рад, что застали в компании с такой молодой и крашеной стервой), начал выливать в стакан остатки из бутылки. Для него.

Микша вспомнил вдруг про бумажку, которую сунул ему Кудасов, нащупал ее в кармане дождевика, бросил на стол.

— Берите да чешите куда-нибудь. Живо!

— Да ты что, Никифор Иванович…— опешил Власик.

– Не имеешь права! — взвизгнула распьянющая Зина, но бумажку сцапала моментально.

Микша не стал много разговаривать — не та публика, чтобы прения открывать,— двери настежь, ворота настежь: вон, пока деньги не забрал обратно!

Бабка проснулась от холода. Никакой шум, никакой крик не могли вывести ее из дремучего сна, а вот опахнуло холодным воздухом — и ожила: голову стриженую с подушки приподняла, очумелым взглядом вонзилась в него.

— Матрена, знаешь, нет, я кто? — прокричал Микша.

– Бывaт, какой служашой.

— Нет, здешний. Из Сосина.— Микша взял со стола стакан с водкой, которую налил ему Власик.— Ну-ко выпей немножко, прочисти мозги.

Бабка отпила глотков пять и мало-помалу начала соображать.

— Ивана Варзумова помнишь с нижнего конца?

— Помню.

— Хороший был человек?

– Хороший. Как не хороший. Все бумаги людям писал.

— И тебе писал?

— Писал. У нас лошадь белые забрали, парень, Петруха, ко красным ушел. Хороший был карько. Заплатили деньгами.

— Кто заплатил?

— Власти. Иван Никифорович бумагу написал. По евонной бумаге заплатили.

Да, это так, так, подумал Микша. Правильно говорит бабка: ходили к отцу люди насчет всяких бумажных дел. Он и сам теперь припоминает. И, помнится, дядья крепко выдавали отцу за это: дескать, в подрыв Советской власти действуешь. Да и мать не очень одобряла отца.

— Матрена, а матерь мою помнишь? Жену Ивана Никифоровича?

— О, ты вот про кого. Про Анюшку кобылинскую. Дурна баба. Кровь-та у ей, сам знаешь, кобылинская. У трезвой, бывало, Иван Никифорович слова не добьется: все не так, все не эдак. А в праздник выпьет — опять прощенья просит у Ивана Никифоровича, в ногах со слезьми ползает.

И это тоже правильно говорит старуха. Выпивала мать. И каждый раз каялась перед отцом, плакала, называла его святым, а себя — ведьмой, сукой. И тут не выдерживал отец и тоже начинал плакать и просить прощения у матери. А как плакал и убивался отец, когда умерла мать! Он, Микша, первый раз в жизни видел, чтобы у человека была мокрой от слез борода. Первый и, наверно, последний.

— Матрена,— Микша хлюпнул носом,— а меня отец вспоминал перед смертью?

— Да ты чей будешь-то?

— Сын Ивана Никифоровича. Микша. В прошлом году хлев у тебя на дрова пилил.

— Нету, нету хлева-то. И овечек нету. Я все с овечками жила, шерсть пряла. Хорошая у меня шерсть была…

Микша слегка потряс старуху за костлявые плечи.

— Да ты не про овечек мне, не про шерсть. Ты вспомни, как умирал Иван Никифорович. Перед самой войной, когда из заключенья пришел. Вспоминал он своего сына?

— Да разве у его сын был? Дочи, кабыть, Анюшка.

— Нет, не дочи! — закричал Микша.— Сын! Я. Никифор. Понимаешь?

Старуха не понимала. У нее, видно, кончились те немногие минуты просветления, которые ей еще отпускала на день природа, и сколько он ни кричал, сколько ни объяснял, кто он, пробиться к ее памяти не мог.

Между тем вернулись Власик и Зина — забарабанили в окошко и в ворота. И пришлось идти открывать, пришлось впускать в избу.

– Никифор Иванович! Живем! — Власик еле держался на ногах, но на стол выкинул две бутылки. Зина тоже бутылку поставила.

Наверно, четвертной дал, подумал Микша про Кудасова и хлопнул дверью: разве до выпивки ему было сейчас?

9

Вот и опять его ноги вынесли к реке, к перевозу.

Бродил, бродил по деревне, думал-думал, к кому бы еще толкнуться,— ничего не придумал. Петруша Лысохин, к примеру, подходящих бы годов, да всю жизнь прожил в городе — что знает про отца? От Настасьи Тюлевой тоже толк небольшой: напрочь глуха. А Ма-ремьяна Максимовна и на порядке бы старуха, с умом, да к ней нет ходу из-за дяди Александра. Чуть ли не сорок лет прошло с той поры, как дядя совратил ее дочь Татьяну, сама Татьяна стала старухой, а не забыла обиду Маремьяна: встретишь — глазами прожигает тебя.

Волна на реке не стихала. С гулом, с грохотом била в лодки у берега, и те в темноте натужно скрипели, ворочались, как невидимые тюлени.

Эх, да что он раздумывает! Райцентр рядом, четыре версты не будет. Отец годами, до тех пор пока служил в райпотребсоюзе, шлепал. Каждый день — и утром и вечером, а он стоит, к реке прислушивается.

Через час Микша входил в райцентр. К его немалому удивлению, тут еще кое-где были огни, дощатые тротуары трещали под ногами буйного молодняка, возвращающегося с танцев.

Скоро он свернул с главной улицы, темными переулками вышел к коммунальной бане — тут, за

два дома, возле колодца под навесом, жил Василий Семенович.

Василий Семенович частенько попадался ему на глаза, когда он бывал в райцентре. Веселый старик, всегда в людных местах трется. И всегда зовет его в гости: «Зайдем, зайдем ко мне, Иванович. Вспомянем отца. Ведь у тебя отец-то — книжки надо писать».

Ему долго не открывали. Стучал кулаком, дубасил сапогами — все бесполезно. И только после того, как догадался брякнуть палкой в раму, в сенях зашаркали старческие шаги.

— Кто там по ночам безобразит? Милиция у нас рядом, можно и позвать как.

— Открывай, Федосеевна.— Он все-таки вспомнил имя старухи.— Свои.

— Да чьи свои-то? Свои-то в свой час и ходят.

— Свои, говорю. Никифор из Сосина. Ивана Варзумова сын.

— Кого-кого сын? Ивана Никифоровича? Да что же ты, родимой, сразу-то не сказал?

И тут вмиг, как в сказке, пали железные запоры, и Микша, громыхая дождевиком, ввалился в кухню.

— Заходи, заходи, Никифор Иванович,— опять запела старуха.— Завсегда, и ночью и днем, открыт наш дом для сына Ивана Никифоровича. А я ведь думала, пьяница какой ломится. Какие-то времена пошли — мужики ночи без вина прожить не могут. Все только одно вино и ищут.— И вдруг заохала, заахала: — Да откуда ты, родимой? На тебе ведь лица нету. Весь забелел, застудел…

— Ладно про лицо. Ты лучше старика своего разбуди.

Федосеевна печально покачала старой головой.

— Нет, не разбудишь Василья Семеновича. Крепко спит Василий Семенович. Беспробудным сном…

Чего? Помер?

— Помер, помер Василий Семенович. На той неделе два годика будет, как схоронили.

Микша тяжело опустился на заскрипевшую табуретку, обеими руками схватился за голову: вот и поговорил с веселым стариком про отца.

— Слушай, Федосеевна, а ты не знаешь, за что твой старик все добром вспоминал моего отца?

— Знаю, как не знаю. Твой-то отец, Иван-то Никифорович, моего старика от смерти спас.

— От смерти? Мой отец?

Да, от смерти. В ту еще, в гражданскую. Мы с Васильем, не знаю, жили, нет с неделю-то вместях — только-только поженились. И вот как сейчас помню, вечером из гостей приходим, у моих родителей были, раздеваемся, и вдруг твой отец: «Василий Семенович, спасайся! Сейчас за тобой придут». А Василий Семенович — ха-ха, на смех. Знаешь, какой зубоскал был: мне за день до смерти кукиш показывал. А уж крыльцо-то трещит. Идут. Ну меня бог вразумил, закладку в сенях задвинула. Василий — на поветь. Понял, чем пахнет. А поветь-та уж тоже в

окруженье взята. Застреляли, забахали — я думаю, и мужику моему конец. Ну да темень была — ушел невредимой. А твой-то отец, Иван Никифорович, не ушел. Куда уйдешь? Мефодий, дядя твой, в избу влетел: «А-а, дак это ты его предупредил? Ну раз контру спасаешь — становись сам к стенке!» И прямо револьвер на него. Да хорошо, тут Александр заступился, тоже дядя твой. «Что ты, говорит, Мефодий, опомнись! Это ведь зять наш, муж нашей сестры». А то бы крышка Ивану Никифоровичу. Мефодий Кобылин, хоть и дядя тебе родной, а собака был человек. Сколько его на свете нету? Двадцать лет, а может, больше, а люди и теперь еще из-за него плачут. Что он наделал — натворил в том году со своими головорезами — страсть. В кажинной деревне безвинных людей сказнил, а в нашей волости зараз десять мужиков. Один одного лучше да крепче. Мой-то у него тоже был приговорен, да спасибо Ивану Никифоровичу…

Тут Микша решил внести ясность, ибо кто только в последние годы не пинает его дядьев за расстрелы в восемнадцатом году.

— Ты слыхала про то, что в Ленина белые стреляли? В Москве, на одном заводе? Ну дак за Ленина, за вождя революции тогда мстили. Красный террор. Чтобы впредь неповадно белякам было. Понимаешь?

— Да ведь Ленина в Москве стреляли, с Москвы и спрашивайте. А наши-то мужики чем виноваты? За тысячу верст от Москвы живем…— Тут Федосеевна по старой привычке перешла на шепот: — Да мы, Никифор Иваныч, в те поры и про Ленина-то не слыхивали. Это потом все — Ленин да Ленин, а тогда чего мызнали…

— М-да…— сказал Микша.— Вон оно как…— Он обеими руками схватился за голову, потер лоб.— А отец, значит, не сробел, прямо под наган стал? А я ведь думал, по части смелости он слабак.

Кто, Иван-то Никифорович слабак? Что ты, что ты, господь с тобой. В крестьянском пароходстве служил казначеем — знаешь, какие деньги имел. И в город, и из города один ездил. А нервов-то, угроз-то ему сколько было, когда с ссыльными они это опчество стали делать! Парамон Усынин, наш-то богач, сама слыхала, как возле казенки кричал: «Ну, Ванька, ты еще восплачешь у меня красными слезами!»

Микше доводилось слышать, что отец служил казначеем в каком-то пароходном обществе, но что это за общество, почему о нем до сих пор вспоминают люди, он не знал, а потому попросил рассказать ста-РУху.

— Ну, милой,— вздохнула Федосеевна,— это тебе, кто грамотный, надо спрашивать, а чего я расскажу? Было у нас в уезде пароходное опчество, на паях мужики два парохода купили, чтобы товары из города возить, а то Парамоха Усынин втридорога за все драл — и за проезд, и за товары. А в те поры у нас ссыльные жили, вот они и стали подбивать твоего отца на киперацию. А он, Иван-то Никифорович, у Парамона Усынина служил, в доверенных был.

— И отец против самого Усынина пошел? — От волнения у Микши перехватило горло.

— У, милой! Что тогда было, и не пересказать. Шутишь, нет, у Парамона такой кус вырвали. Раньше сколько хочу, столько и деру — мои пароходы, я хозяин. А тут дери, да оглядывайся: еще два пароходика на реке посвистывают. В больших, в больших людях ходил Иван Никифорович. Это теперь-то его попризабыли, а тогда что ты — первый человек. Да ты чем меня, темноту, спрашивать про отца, к Павлину Федоровичу сходи. Они вместях тогда это опчество ставили. Уж он тебе все как надо разложит…

10

Если кто и был загадкой для Микши на этом свете, так это Павлин Федорович Усольцев, районный учитель.

Человек в двадцать пять лет все кинул в городе — квартиру, хорошее место (говорили, в профессора мог выйти),— поехал в ихнюю глушь. Добровольно. Без всякого понюжальника. Чтобы учить крестьянских со-пленосых ребятишек, нести свет людям.

И вот двадцать пять лет, как говорили в старину, сеял разумное, доброе, вечное, все отдал людям, всем пожертвовал: молодостью, семьей (так холостяком и остался), здоровьем. А люди? Чем отплатили ему за это люди?

В тридцать восьмом году Павлина Федоровича арестовали, и никто, ни один сукин сын не заступился за старика…

Он, Микша, на всю жизнь запомнил, как Павлина Федоровича отправляли под конвоем в город. Было это ранним июньским утром. Он откуда-то возвращался с гулянья под парами (страшно он пил тогда, после отреченья от отца. По пьянке, между прочим, и в тюрьму угодил — грузовиком на районную трибуну налетел), и вдруг в утренней тишине зазвякало, заскрипело железо. Глянул — а из ворот энкэвэдэ выводят арестованных. Все на один манер. Все грязные, бородатые, серые. А Павлина Федоровича он все же узнал. По выходке. Горделиво, с поднятой головой шел. И еще ему кинулась в глаза белая-белая лысина…

Семнадцать лет отстукал Павлин Федорович. Освободили по хрущевской амнистии в пятьдесят пятом году. И вот как бы поступил на его месте другой человек? Потащился снова в эту проклятую глушь, к этим оглое-дам, которые его предали? Да пропадите вы пропадом! Хоть подохните, хоть на корню заживо сгнивайте. Что — места другого мне не найдется? Хоть в том же в городе, куда все теперь рвутся?

А Павлин Федорович опять вернулся к ним. И мало того что вернулся — весь район в зелень одел.

С тридцатых годов у них озеленяют райцентр. Сил и денег ухлопано — не сосчитать. А все попусту: то сами посохнут эти зеленые саженцы, то козы объедят, то кто-нибудь из озорства выдернет. А вот взялся за это дело Павлин Федорович, и по всему району, по всем деревням загулял зеленый огонь. И забыли люди вековечную пословицу: у дома куст — настоится дом пуст. Нет, теперь без красной рябинки да белой черемушки и дом не в дом.

11

Микша не раздумывал, будить или не будить старика. Это часа два назад, когда у него еще не было в голове паров (отца с Федосеевной помянули), он бы ломал голову, как быть. А сейчас все просто. На крыльце грязь с сапог обил — и прямо в коридор, к двери, где крупно, как в букваре, было написано: «П. Ф. Усольцев»,— давай, Павлин Федорович, открывай, объясни, как жизнь надо понимать, поставь мне, дураку, мозги на место.

Старик, должно быть, еще не спал: он быстро, не по-стариковски, открыл дверь.

— Павлин Федорович, это я, Кобылин…

— Кобылин?

— Ну да, Никифор Кобылин… в пятом классе у вас учился…

Старик покачал головой.

— Кобылины у меня не учились.

— Ну вот еще, автобиографию я свою забыл. Да я тогда не Кобылин, Варзумов был. Ивана Никифоровича сын. В райпотребсоюзе который работал… Бухгалтером…

— Так это ты… ты от отца отрекся?

— Да будет вам, Павлин Федорович! Старое-то вспоминать… Когда это было-то!

Павлин Федорович спокойно и твердо, совсем как, бывало, на уроке, сказал:

— Нет, Кобылин, не все, что старое, забывается.— И вслед за тем так же спокойно закрыл дверь.

Микша оторопел. Он хотел крикнуть: «Да погодите же, Павлин Федорович! Да я не ради себя пришел, ради отца…»

И не крикнул. Не хватило духу.

12

Сколько времени он бродит? Где был? Что ищет?

Темень, темень кромешная, мрак кругом…

Какой-то забор вдруг преградил ему дорогу. Он ощупал его руками — похоже на острые штакетины, приподнял кверху лицо — что за шум над головой? Сосны, сосны шумят…

А-а, так вот куда его занесло — к братскому кладбищу, к дядьям на могилу.

Ну здравствуйте, здравствуйте, дядюшки!

Микша не тыкался, не вихлял больше в темноте: тут, на кладбище, он был как у себя в избе. Знал каждый поворот.

Уже давно перестали колонны демонстрантов ходить на братское кладбище в красные праздники, уже давно не говорят над могилами зажигательных, до самого сердца пробирающих речей, не поют «Интернационал», не палят из ружей, а он ходит. Из Сосина ходит. С красным флагом. В любую погоду, в ледоход попадает за реку…

— Ну спасибо, дорогие дядюшки,— сказал в темноту Микша.— Устроили вы мне жизнь…

Ледяной ветер с воем, с визгом, как стая злющих собак, налетел на него, едва он ступил ногой на открытый большак. Он остановился. Может, обратно двинуть, в райцентр, переночевать у знакомых? Но он вспомнил вдруг Оксю, представил себе, как она, вся измучившись, ждет его дома,— и к черту, к дьяволу ночлеги. Даешь

Сосино!

Ах дура, дура Окся! Прибежала к нему, вдовцу, семнадцатилетней девчонкой. Сама. Не могу

видеть, как мучаются осиротелые детишки,— а про то подумала, как с Кобылиным жить? Только и свету, только и радости она у него видела, что в первый год их совместной жизни он свозил ее в город да показал в областном музее уголок своих дядьев…

На лугу ведьмы справляли шабаш. Он сбился с дороги, залез в какую-то топкую озерину, в темноте потерял шапку. Хана! Не выбраться из этой проклятой ночи…

Ну нет, не для того он вывернул наизнанку всю свою жизнь, чтобы, как собака, подохнуть на открытом лугу. И он, зажав рукой сердце (оно, как загнанный заяц, торкалось под парусиной дождевика), опять начал утаптывать в темноте луг. И опять какая-то топь, болотина, опять какие-то кочки под ногами. Откуда? С каких пор на их ровнехоньком, как блюдо, лугу позавелась вся эта пакость?

Окся, Окся вывела его к реке. Ее дымок он вдруг учуял в ночной темени. Знала: любит муж тепло после похмелья. Любит босиком походить по избе. Вот и затопила печь ни свет ни заря. Вот и донесло до него ветром запах родного дома…

Светало, когда Микша, опираясь на жердь, поднялся в сосинский берег. Волосы на голове у него смерзлись, обледенелый дождевик гремел, как железо…

Близко, близко уже дом… Уже видно, как огни светятся в окнах. Много огней… Но что это? Откуда колокольный звон?

Он повернул голову на восток и увидел там черную громадину часовни, освещенную заревом свечей.

Нет, нет, дудки! Это старухам постоянно мерещатся свечи на рассвете, а я безбожник. Я с малых лет не верю ни в бога, ни в черта.

Но свет на востоке не гас, и оттуда уже доносилось какое-то знакомое-знакомое пение. Где, где он слышал его?

Вспомнил. Лишенцы, раскулаченные пели в тридцатом году.

По вечерам, на закате, из часовни выползали все, кто мог двигаться, усаживались прямо на землю и заводили песни. Мягкие, нездешние, налитые безнадежной тоской и мукой. И сосинские бабы, слушая эти песни, навзрыд плакали, и плакал его отец… И он ненавидел его тогда до слез, до исступления. Ненавидел за то, что отец был человеком…

Иду, иду, отец!

Никогда в жизни не был он на могиле своего отца, никогда в жизни не ронял слезы на погосте возле часовни, а почему? Разве он не сын своего отца?

Звонили колокола… Песня то умолкала, то вновь томила тоской и болью…

Он шел к отцу…

13

Неделю спустя в районной газете в разделе «Пьянству — бой!» появилась заметка:

«К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДРУЖБА С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ Н. Кобылин, конюх из Сосина, давно уже

снискал печальную известность своей многолетней дружбой с зеленым змием. А ведь не теперь известно: там, где вино, алкоголь, там моральные срывы, безрассудные выходки. Ну кто, к примеру, в здравом уме и трезвой памяти поедет сейчас по бездорожью в глухой сузём, чтобы навести, так сказать, свой порядок в рыбном хозяйстве? А Н. Кобылин поехал, а вернувшись из поездки, предпринял дерзкое форсирование реки — посреди ночи, в условиях ледяной шуги.

Кончилось все это, как и следовало ожидать, весьма печально. В ночь на 15 октября Н. Кобылин до того напился, что на ночлег решил перебраться на могильники, к старой часовне, где его и нашли замерзшим.

Н. Кобылину теперь уже ничем не поможешь, но кое-кому еще можно и должно помочь, ибо, увы, в нашем районе еще не перевелись любители водить дружбу с зеленым змием.

Долг общественных организаций — ни на минуту не выпускать из своего поля зрения дебоширов и злостных пьяниц.

Пьянству — бой!»